

Города ночью... Мне кажется, здесь многие мужчины плачут во сне, а потом говорят: «Ничего. Ничего страшного. Просто дурной сон». Или что-нибудь в этом духе... Спуститесь пониже на межгалактическом корабле своих рыданий, и ваши приборы их уловят. Женщины — это могут быть жены и любовницы, худошавые музы и тучные сиделки, сексуальные наваждения и тиранши, бывшие возлюбленные и их счастливые соперницы — они просыпаются, поворачиваются к мужчинам и, снедаемые зудом женского любопытства, спрашивают: «Что с тобой?» А мужчины отвечают: «Ничего. Ничего особенного. Правда. Просто дурной сон».

Просто дурной сон. Ну да, конечно. Просто дурной сон. Или что-то в этом роде.

Ричард Талл плакал во сне. Женщина, лежащая рядом с ним — его жена, Джина, — проснулась и повернулась к нему. Она придвинулась к нему и положила руки на его бледные напряженные плечи. В ее прищуренном взгляде, нахмуренном лбе, в ее приглушенных словах чувствовался профессионализм, как у спасателя, стоящего у края бассейна, или как у Спасителя, спешащего по залитой кровью мостовой, чтобы сделать пострадавшему искусственное дыхание. Джина ведь женщина. И она знала о слезах гораздо больше мужа. Она не знала о ранних работах Свифта или о поздних опусах Вордсворта, о том, как по-разному трактовали образ Крессиды Боккаччо, Чосер, Роберт Генри-

сон и Шекспир, она не знала Пруста. Но она знала, что такие слезы. О слезах она знала все.

— Что случилось? — спросила она.

Ричард провел рукой по лбу. Втянул носом воздух — и раздалось сложно оркестрованное сопение. Вдохнул — и из глубин его легких донеслись отдаленные крики чаек.

— Ничего. Ничего особенного. Просто дурной сон, — ответил он.

Или что-то в этом роде.

Немного погодя Джина тоже вздохнула и повернулась на другой бок, спиной к мужу.

По ночам их постель имела ванно-махровый запах супружества.

Ричард проснулся, как обычно, в шесть. Ему не нужен был будильник. Он сам был точно заведенная пружина будильника. Ричард Талл не просто не выспался, он чувствовал себя совершенно разбитым. Обычная усталость, которую может развеять сон, его немного отпустила, но была еще другая усталость. Она давила со всех сторон. Эта всеобъемлющая усталость копилась изо дня в день. Это усталость от земного притяжения, которое хочет вдавить тебя в самую глубь земли. И эта усталость никуда не уходит — с каждым днем она давит все сильнее. Можно выпить чаю или вздремнуть, но от этого легче не становится. Ричард уже забыл, что плакал во сне. Сейчас его глаза были открыты и сухи. Он находился в ужасном состоянии — в состоянии сознания. В какой-то момент жизни он утратил способность выбирать, о чем ему думать. Каждое утро он выскользывает из постели, чтобы хоть немного успокоиться. Каждое утро он выбирался из постели, чтобы хоть немного отдохнуть. Завтра ему исполняется сорок, и он — книжный обозреватель.

На тесной кухне, терпеливо ожидавшей его прихода, Ричард включил электрический чайник. Потом заглянул в соседнюю комнату к мальчикам. После таких ночей, как сегодняшняя, со всей ее непрошеной информацией, ран-

ние визиты в их комнату его немного успокаивали. Его сыновья-близнецы спали в своих кроватях. Мариус и Марко не были близнецами-двойняшками. И Ричард не раз говорил (хотя, возможно, он был несправедлив), что они не были и братьями-близнецами. Он имел в виду, что они не проявляют братской привязанности. Но, так или иначе, они были братьями, рожденными почти в одно и то же время. Теоретически возможно (а Ричард подозревал, что это возможно и практически, учитывая, что их матерью была Джина), что у Мариуса и Марко были разные отцы. Они не были друг на друга похожи и обнаруживали разительное несходство во всех своих способностях и склонностях. И даже их день рождения не пожелал совпасть: кровопролитная летняя полночь встала между мальчиками, и даже едва родившись, они уже вели себя по-разному. Мариус, старший, лежал и обозревал помещение пристальным умным взглядом — словно он воздерживался от негативной оценки лишь из отвращения или приличий ради. А вот Марко наоборот — довольно гугукал и вздыхал, и будто похлопывал себя ручками, словно после долгого пути через непогоду. Сейчас, рано утром, сквозь занавешенное дождем окно улицы Лондона напоминали внутренности старого пожарного крана. Ричард смотрел на сыновей — обычно подвижные тела мальчиков были скованы сном и переплетены с простынями узлом — и думал, как мог бы подумать художник: во сне юные переносятся в другую страну, одновременно полную опасностей и вместе с тем безмятежную, вечно влажную от невинного детского либидо, где на страже их сна замерли бесстрастные грозные орлы.

Временами Ричард и правда думал и чувствовал как художник. Он был художником, когда смотрел на огонь, даже если это была всего лишь зажженная спичка (сейчас он уже был в своем кабинете и закуривал первую за день сигарету), — он интуитивно чувствовал, что его привлекает стихийная природа огня. Ричард был художником, когда

наблюдал жизнь общества, и ему никогда не приходило в голову, что общество вынуждено быть таким, что у общества есть право быть таким, какое оно есть. Или взять, к примеру, машины на улице. Зачем они? К чему эти машины? Как раз таким и должен быть художник: обычные вещи должны тревожить его до безумия, почти до потери сознания. Трудности начинались, когда Ричард садился писать. Вообще-то, трудности начинались еще раньше. Ричард посмотрел на часы и подумал: «Ему еще рано звонить». Или даже так: «Звонить ему еще нельзя». Потому что ныне из почтения к Джойсу во внутреннем монологе личному местоимению отказывают в ведущей роли. «Он еще в постели. Разумеется, он не разметался, как мальчишки, он лежит с довольным видом мирно отдыхающего человека. Ибо в его сон не приходит информация, а если и приходит — то лишь приятная».

В течение часа (теперь Ричард по-новому распределял свое время) он работал над своим последним романом, намеренно, хотя и условно озаглавленным «Без названия». Ричард Талл отнюдь не был героем. Однако нечто героическое все же было в том, как он эти ранние часы тянул время: вяло точил карандаши, искал куда-то задевавшуюся «мазилку», много курил у открытого окна — даже выющийся виноград за окном пожелтел от табачного дыма. В ящиках письменного стола, на нижних полках книжных шкафов со страницами, переложенными счетами и судебными повестками, в машине на полу (у него был «маэстро» кошмарного красного цвета) вперемешку с картонками из-под сока и отслужившими свой срок теннисными мячами лежали другие его романы, все решительно озаглавленные «Неопубликованное». И он знал — в будущем его ожидали кипы новых романов, озаглавленных в такой последовательности: «Неоконченное», «Ненаписанное», «Неначатое» и наконец «Незадуманное».



Пришли проснувшиеся мальчишки. Их появление можно было бы сравнить с веселым ветерком, если бы этот ветерок не был таким продолжительным и не заметал в свой круговорот такое множество обыденных мелочей. Ричарду отводилась роль уважаемого, хотя и втайне пристрастившегося к спиртному пилота в кабине разбитого космического челнока: вот его планшет с листами для записей, его список неотложных дел на девяти страницах, его набирающее обороты похмелье — носки, задачки, каша, книга для чтения, тертая морковь, умыться, почистить зубы. Джина появилась в разгар этого действия. Сейчас она стояла у раковины и пила чай... Разумеется, дети для Ричарда по-прежнему были загадкой, но, слава богу, он знал их детский репертуар и кое-что знал об их потаенной жизни. О Джине же он знал все меньше и меньше. Малыш Марко, к примеру, верил, что море выдумал кролик, который живет в гоночной машине. Это еще можно обсуждать. А вот во что верит Джина, Ричард не знал. Космогонию ее души он знал все хуже и хуже.

Вот она стоит — светлая губная помада, светлая пудра, светлый шерстяной костюм, — держит чашку в ладонях. Другие работающие девушки, с которыми Ричарду когда-то приходилось делить постель, обычно начинали готовиться к очной ставке с внешним миром уже с одиннадцати вечера. Джине на все про все требовалось двадцать минут. Ее тело не создавало ей проблем: шампунь «два в одном», быстросохнувшие волосы, ясные глаза, которые нужно лишь слегка подчеркнуть, язык нежно-розового цвета, десять секунд на сокращение кишечника, и тело, на котором любая одежда сидела как влитая. Джина работала два, иногда три дня в неделю. То, чем она занималась, эти ее паблик-рилейшнз, казались Ричарду гораздо таинственнее того, чем занимался или, лучше сказать, безуспешно пытался заниматься он, сидя в своем кабинете. На ее лицо сейчас, как на солнце, нельзя было смотреть, не прикрывая глаз, хотя, конечно, солнце без разбору светит всем и каждо-

му, и ему все равно, кто смотрит на него. Полы халата Ричарда опустились на пол, пока он пытался своими обгрызенными пальцами застегнуть Мариусу рубашку.

— Не можешь? — спросил Мариус.

— Хочешь чаю? — невпопад спросила Джина.

— Тук-тук, — сказал Марко.

— Я застегиваю. Нет, спасибо, все нормально. Кто там? — подал реплику Ричард, отвечая всем по порядку.

— Ты, — ответил Марко.

— Ну же, застегни. Ну давай же, папа, — сказал Мариус.

— Кто — ты? — ответил Ричард. — Ты хотел сказать, застегивай поскорее. Я стараюсь.

— Дети готовы? — спросила Джина.

— Эй, отзовись! Тук-тук, — сказал Марко.

— Думаю, да. Кто там?

— А дождевики?

— Эй!

— Нужны дождевики?

— Ты как хочешь, но без дождевиков я их в такую погоду никуда не повезу.

— Эй! — сказал Марко.

— Ты их сам отвезешь?

— Кто — эй? Да, думаю, да.

— Что ты кричишь?

— Посмотри на себя. Ты еще не одет.

— Сейчас оденусь.

— Почему ты кричишь?!

— Уже без десяти девять. Я сама их отвезу.

— Да, ладно. Я их отвезу.

— Папа! Почему ты кричишь?!

— Что? Я не кричу.

— Ты ночью кричал и плакал, — сказала Джина.

— Правда? — удивился Ричард.

Все еще в халате и в шлепанцах на босу ногу, Ричард пошел провожать жену и детей. Он вышел вместе с ними

из квартиры и стал спускаться вниз по лестнице. Но вскоре они вырвались вперед, так что когда он обогнул последний поворот лестницы, то успел только увидеть, как входная дверь открылась и закрылась, — и веселый ветерок исчез, шелкнув на прощание хвостом.

Ричард забрал свою газету «Таймс» и свою второсортную почту (в дешевых конвертах из грубой бумаги, никому не нужные письма, пробирающиеся по городу ужасно медленно). Ричард внимательно просмотрел газету и наконец дошел до рубрики «Поздравляем!». Вот оно. Там даже была его фотография в обнимку с женой — леди Деметрой.

В одиннадцать Ричард набрал номер. Он почувствовал прилив нервного возбуждения, когда Гвин Барри сам взял трубку.

— Алло?

Ричард перевел дух и произнес с расстановкой:

— ...Ах ты, старый хрен.

Гвин помолчал. Наконец до него дошло, и он расхохотался благодушным и даже вполне искренним смехом.

— Ричард, — произнес он.

— Не смейся так. Лопнешь. Или шею свернешь. Сорок лет. Да-а. Видел твой некролог в «Таймс».

— Слушай, ты пойдешь туда?

— Я — да. А тебе, пожалуй, лучше воздержаться. Посидишь тихонько у камина, укутав ноги пледом, в компании со стариковскими пилюлями и кружкой чего-нибудь горяченького.

— Ладно, ладно, кончай, — сказал Гвин. — Так ты пойдешь?

— Да, думаю, да. Что, если я зайду к тебе в полпервого, а потом мы возьмем такси.

— В полпервого. Отлично.

— Старый хрен.

Ричард горько вздохнул и пошел в ванную, и там долго и с ужасом разглядывал себя в зеркало. Его сознание при-

надлежало ему, и он нес полную ответственность за все, что бы оно ни натворило или еще могло натворить. А вот тело... Остаток утра он провел, шлифуя первое предложение своей статьи в семьсот слов о книге объемом в семьсот страниц, посвященной Уорику Дипингу. Как и его близнецов, Ричарда и Гвина Барри разделял всего один день. Ричарду сорок лет исполняется завтра. Но «Таймс» об этом не напишет. «Таймс» удостаивает своим вниманием только знаменитостей. А в доме 49 по улице Кэлчок-стрит проживала лишь одна знаменитость, и она никому не была известна. Джина была генетической знаменитостью. Каждый дюйм ее тела был прекрасен, и она совсем не менялась. Становилась старше, но не менялась. На старых фотографиях она была все такая же и все так же не мигая смотрела в объектив. А вот все остальные, казалось, менялись немилосердно часто, представляя то мессиями в точных одеждах, то эдакими пышноусыми сапатами\*. Иногда Ричарду хотелось, чтобы Джина не была такой: такой красивой. Особенно если учесть его теперешние муки. Ее брат и сестра были обыкновенными. Ее покойный отец тоже был как все. Ее мамаша, старая толстая развалина, была еще жива, но уже почти не вставала с постели.

Мы все сходимся во мнении — да бросьте вы, разумеется, мы все единокорны, — когда дело касается красоты плотской. Здесь консенсус вполне возможен. И в математике вселенной красота помогает нам отличить истинное от ложного. Мы быстро находим общий язык, когда речь идет о красоте небесной и плотской. А вот в остальном — далеко не всегда. Относительно красоты печатного слова, например, наши мнения не совпадают.

Скуззи, сидевший в кабине фургона, посмотрел на Тринадцатого и произнес:

— Короче, приходит Морри к врачу, так?

---

\* Сапата Эмилиано (1879–1919) — мексиканский революционер, лидер крестьянского движения.



— Ага,— произнес Тринадцатый.

Тринадцатому было семнадцать лет, и он был чернокожим. На самом деле его звали Бентли. Скуззи был тридцать один год, и он был белым. И на самом деле его звали Стив Кузенс.

— Короче, Морри говорит врачу: «У меня с женой не стоит, с моей женой — Квини. У меня с Квини не стоит».

Услышав это, Тринадцатый сделал то, что белые люди по-настоящему делать разучились: он улыбнулся. Когда-то давно и белые люди это умели делать.

— Ну,— с любопытством произнес Тринадцатый.

«Морри, Квини,— подумал он про себя.— Кругом одни евреи».

— А доктор ему,— продолжал Скуззи.— «Бедняга. Слушай, мы тут пилюли получили из Швеции. Новейшая разработка. Стоят недешево». Одна пилюля на целый ковер тянет. Сечешь?

Тринадцатый кивнул:

— Ну.

Они сидели в оранжевом фургоне, потягивая грейпфруто-ананасовый напиток из банок «Гинг». Между ними у ручного тормоза безмолвно восседал Джиро (это жирный пес Тринадцатого) и учащенно дышал, точно умирал от вожделения.

— Примешь одну, и у тебя четыре часа будет стоять. Пушка что надо. Короче, возвращается Морри домой...— Тут Скуззи выдержал паузу, а потом задумчивым тоном продолжил: — Звонит он доктору и говорит: «Ну, выпил я одну пилюлю, и что?!»

Тринадцатый повернулся к Скуззи и нахмурился.

— «Квини ушла за покупками. Вернется не раньше чем через четыре часа!» Доктор ему говорит: «Да, приятель, дело серьезное. А дома кто-нибудь еще есть?» «Да,— отвечает Морри.— Нянька». Доктор его спрашивает: «Ну и как она?» Морри говорит: «Восемнадцать лет и большие сиськи». Тогда док ему: «Ладно. Без паники. Придется тебе

няньку трахнуть. Скажи ей, мол, так и так — ситуация чрезвычайная. По медицинским показаниям».

— По медицинским показаниям, угу,— пробурчал Тринадцатый.

— «Хм-м, не знаю,— говорит Морри.— В смысле — одна пилюля на целый ковер тянет. Пропали мои денежки почему зря. С нянькой у меня и так стоит».

Наступило молчание.

Джиро зевнул, широко раскрыв пасть, а потом снова учашенно задышал.

Тринадцатый откинулся на спинку сиденья. Желания расплыться в улыбке и нахмурить брови боролись между собой за право господствовать на его лице. Победила улыбка.

— Ага,— произнес он.— Типа трахайтесь на ковре.

— На каком, на хрен, ковре?

— Ты сам сказал — на ковер.

— Когда?

— Ну, пилюли на ковер.

— О, боже,— сказал Скуззи.— Это пилюли стоят как целый ковер. Одна штучка.

Лицо Тринадцатого вытянулось. Но это так — ерунда. Пройдет.

— Ковер, говорю. Боже. Ковер — это полсрока.

Ничего — ничего страшного.

— Черт, короче, срок у нас — год, а ковер — полсрока.

Шесть сотен выходит.

Прошло. Тринадцатый слабо улыбнулся.

— Тоже мне. Это ведь ты у нас тюремная пташка,— добавил Скуззи.

Внезапно, как в фильмах ужасов (Джиро даже перестал пыхтеть), слева от фургона на переднем плане появился Ричард Талл. Заметив их, он поморщился и, пошатываясь, побрел дальше. Джиро широко зевнул и снова запыхтел.

— Во! — Скуззи кивнул в сторону Ричарда.

— Он,— сказал Тринадцатый просто.

— Не-е, это не он. Это второй. Приятель того.— Скуззи кивнул, ухмыльнулся и покачал головой, и все это одновременно: он любил так делать.— А Бац его жену пялит.

— Говорят, этого мужика часто по телику показывают,— сказал Тринадцатый, нахмурившись, и добавил: — Правда, я его ни разу по ящику не видел.

— А ты только своих долбанных «Симпсонов» и смотришь,— буркнул Стив Кузенс.

Ричард позвонил в дверь дома на Холланд-парк-авеню, предъявив свою моментально осунувшуюся физиономию и бабочку камере наружного наблюдения. Камера резко развернулась и уставилась на него со своего небольшого кронштейна над дверью. Ричард попытался внутренне собраться. Он хотел подготовиться к тому, что сейчас на него навалится. Это у него никогда не получалось. Обстановка в доме Гвина всегда давила на него. Ричард походил на того придурка-курсанта на атомной подлодке, который во время обычной проверки механизмов, болтая с приятелем, повернул ручку на торпедном аппарате и тут же был сбит с ног фаллосом бурлящей морской воды. На глубине с давлением в несколько атмосфер, под прессом всего того, что есть у Гвина.

Взять хотя бы самый явный пример — сам дом. Его просторы, солидность и особый размах Ричарду были хорошо знакомы: целый год он ходил в школу точно в таком же здании через дорогу напротив. Этой школы больше нет, как и отца Ричарда, который из кожи вон лез, чтобы устроить его туда. Там размещались двадцать пять человек преподавателей и сотрудников и больше двухсот учеников. Это было царство эстрогена и тестостерона, юношеских бородок и брук-кlesh, драк, мечтаний и первых влюбленностей. Тот многоярусный, непрерывно вращающийся мир исчез навсегда. А теперь в таком же, с такими же размерами здании жили Гвин и Деметра Барри. Ах да. И еще прислуга... Ричард повернул голову, словно желая облегчить

боль в шее. Камера продолжала смотреть на него пристально и с недоверием. В ответ Ричард с вызовом посмотрел прямо в объектив камеры. Как ни странно, но в зависти Ричарда нельзя было упрекнуть. В магазинах ему редко попадалось что-нибудь эдакое, что ему захотелось бы купить. Он любил пространство, но ему не нравилось то, чем его заполняют. Все-таки, подумал он, все было лучше в старые времена, когда Гвин был беден.

Ричарда впустили в дом, провели наверх. Разумеется, наверх его проводила не леди Деметра (в это время она, скорее всего, затерялась где-то в бесконечных коридорах), не горничная (в доме были горничные — создания с именами типа Минг и Агросия, доставленные морем из Сан-Паулу и Вьентьяна) и не кто-нибудь из отряда декораторов (а они попадались на каждом шагу: то элитарный архитектор рыцарского звания, то парень-работяга в комбинезоне и с полным ртом гвоздей). Ричарда провела наверх ассистентка нового типа, какая-то студентка из Америки: ее гладко зачесанные волосы, плотно сжатые губы, черные брови и умные карие глаза говорили о том, что, кем бы ни был Гвин, сейчас он — деловое предприятие, и она в этой фирме отвечает за факсы, ксероксы и отсеивает посетителей. В холле под широким зеркалом Ричард заметил полку, заваленную приглашениями на открытках и даже на дощечках... Он подумал о фургоне на улице: там между приборной доской и лобовым стеклом лежала кипа скопившихся за месяц бульварных газетенок. В машине сидели два парня: белый и черный — и еще толстая восточноевропейская овчарка с языком, свисающим, точно галстук, больше похожая на медведя, чем на собаку.

Интервью с Гвином Барри, совмещенное с фотосъемкой, приближалось к своей кульминации. Ричард вошел, жестом дал знать, что не будет им мешать, пересек комнату по диагонали, сел на табурет и взял лежавший рядом журнал. Гвин — загорелый, в костюме археолога — сидел у окна. У него был вид человека, ведущего полную приклю-

чений жизнь, вид исследователя природы. Гвин четко вписывался в этот образ. Лобные залысины едва наметились, и линия роста волос образовывала четкую границу. Волосы Гвина уже поседели, но седина у него была не серая, подобно чешуе угря или мокрой черепице, как обычно бывает у англичан, его седина была яркой, а не такой, что бывает от снижения уровня меланина и сухости. Ярко-седые волосы — это волосы (подумал Ричард) явного шарлатана. Кстати, Ричард тоже начал лысеть, но как-то анархически. Он лысел не по мужскому типу, когда линия роста волос постепенно поднимается, точно вода во время прилива. У Ричарда волосы выпадали какими-то клочьями, пучками и прядями. Посещения парикмахерской вызвали у него страх и были явно бесполезны, как и визиты в банк или в авторемонтную мастерскую.

— Что вы чувствуете, — спрашивал репортер, — пересекая рубеж сорокалетия?

— С днем рождения, — сказал Ричард.

— Спасибо. Это просто цифра, — ответил Гвин. — Как любая другая.

Эта комната — кабинет Гвина, его библиотека и лаборатория — Ричарду очень не нравилась. Находясь в этой комнате, он, точно гипнотизер, старался не отводить взгляда от алчных зеленых глаз Гвина, боясь увидеть что-нибудь еще. На самом деле он не имел ничего против стоявшей здесь мебели, терявшегося в высоте потолка, трех красивых окон, выходивших на проспект. И он не имел ничего против космодрома в центре комнаты — подставки для дискет и рентгеновских лазеров. Но все в нем восставало против книг Гвина: казалось, что книги Гвина плодятся и множатся в сумасшедшем темпе. Только взгляните на его письменный стол: что вы там видите? Блистательный бред Гвина в переводе на испанский (с цитатами из хвалебных рецензий и датами переизданий), тут же томик, выпущенный американским клубом книголюбов, дешевое издание в мягкой обложке, продающееся в супермаркетах,

что-то на иврите и китайском, кажущиеся вполне безобидными клинопись и пиктограммы. Все эти книги оказались здесь по одной-единственной причине — это были книги Гвина. Потом шли книги, выпущенные издательствами «Галлимар» и «Мондадори», «Алберти» и «Жолнай», «Уитгеверий контакт», «Кавадэ сёбо» и «Магвете кеньвкиадо». В свое время Ричард несколько раз улучил момент и покопался на его письменном столе, порылся в его бумагах. Тот, кто сует свой нос в чужие дела, сует их себе на беду? Возможно. «Полагаю, многие девушки...» «Вам будет приятно узнать, что...» «Ваши билеты будут...» «Судьи приняли решение менее чем за...» «Эти условия, на мой взгляд, исключительно...» «Я буду начинать перевести...» «Прилагаю фотографию, которая...» Ричард отложил журнал, который он перелистывал (он все-таки присутствует на интервью с Гвином Барри), встал и принялся обозревать книжные полки. Книги на них располагались строго в алфавитном порядке. У Ричарда книги никогда не стояли по алфавиту. У него никогда не было времени расставить их по алфавиту. Он всегда был слишком занят, и когда искал нужные книги, никогда не мог их найти. У него дома книги лежали стопками под столами, под кроватями. Книги громоздились на подоконниках — и заслоняли собой небо.

Интервьюер и интервьюируемый несли какой-то витиеватый бред об обманчивой простоте прозы интервьюируемого. Интервью у Гвина брал мужчина, а фотосъемку проводила женщина — точнее, молодая девушка скандинавского типа: длинноногая и вся в черном — надо было видеть, как она извивается и чуть не ползает на четвереньках, чтобы запечатлеть Гвина! Вообще-то глупо завидовать тому, что тебя фотографируют. Вызывало зависть и казалось невероятным то, что достойным фотографирования сочли именно Гвина. Что происходит за фасадом этого многократно запечатленного фотокамерой лица, что творится в этой голове? Разумеется, все эти фотоаппараты не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.

Один снимок большого вреда не причинит, но постоянно щелкающая своей маленькой пастью камера в конце концов не оставит ничего от вашего «я». Да, вполне возможно, что чем больше вас фотографируют, тем бледнее становится ваша внутренняя жизнь. Пока вас фотографируют, ваша душа прозябает, это время для вашей души — мертвый сезон. Разве может голова думать о чем-то еще, когда приходится изображать все ту же полуулыбку и легкую задумчивость? Если это так, то душа Ричарда в прекрасной форме. В последнее время его больше никто не фотографировал, даже Джина. Когда после все реже выпадающих отпусков Талла фотографии приносили из печати, Ричарда на них не было: там были Мариус, Марко, Джина, какой-нибудь крестьянин, или гвардеец, или ослик — от Ричарда оставался лишь локоть или мочка уха у самого среза кадра, на краю жизни и любви...

Между тем журналист продолжал:

— Многие считают, что, поскольку вы стали такой важной фигурой, следующим вашим шагом будет политика. Что вы думаете?.. Не собираетесь ли?..

— Политика? — переспросил Гвин. — Боже, вообще-то я об этом не думал. Во всяком случае, до сих пор. Скажем так: я не исключаю такую возможность. Пока.

— Ты уже выражаешься как политик, Гвин.

Последняя реплика принадлежала Ричарду. Она была принята благосклонно, поскольку, как часто говорят, всем нам время от времени полезно посмеяться от души. Или хотя бы просто посмеяться. Смех нам необходим как воздух. Ричард опустил голову и отвернулся. На самом деле он не это хотел сказать. Совсем не это. Но мир Гвина отчасти был достоянием общественности. В то время как мир Ричарда все больше и больше становился до ужаса частным. А некоторые из нас — рабы своей жизни.

— Думаю, я могу обойтись писательским трудом, — ответил Гвин. — Впрочем, нельзя сказать, что это вещи несо-

вместимые, верно? И писать книги, и заниматься политической — это в равной степени работа творческая.

— Разумеется, вы выступали бы от партии лейбористов.

— Очевидно.

— Разумеется.

— Разумеется.

Разумеется, подумал Ричард. Само собой: разумеется, Гвин — лейборист. Это было очевидно. И волнистые карнизы в двадцати футах над их головами, бронзовые светильники или письменный стол с обтянутой кожей столешницей здесь вовсе ни при чем. Это было очевидно, потому что Гвин был тем, кем он был, — писателем в Англии в конце двадцатого века. Ничего другого такому человеку не оставалось. Ричард тоже был лейбористом, что было также очевидно. Он вращался в таких кругах и читал такие книги, что ему часто казалось, что в Англии лейбористы все, кроме членов правительства. Гвин был сыном школьного учителя из Уэльса (что он преподавал? — физкультуру — когда-то он был учителем физкультуры). Сейчас Гвин принадлежал к среднему классу и был лейбористом. Ричард был сыном одного из сыновей землевладельца в одном из графств, окружающих Лондон. Теперь и он был представителем среднего класса и лейбористом. Все писатели, все люди, так или иначе связанные с литературой, были лейбористами — и в этом одна из причин, почему они ладили между собой, почему до сих пор не затаскали друг друга по судам и не покалечили. Не то что в Америке, где старый хрыч из Алабамы вынужден общаться с богачом из Виргинии, а измученный литовец должен протягивать руку двухметровому верзиле из Кейп-Кода с глазами святоши. Кстати, Ричард не имел ничего против того, что Гвин богач и лейборист. И он не был против того, чтобы Гвин был просто богачом. Очень важно определить природу неприязни (очистить ее от всего лишнего), прежде чем все станет по-настоящему страшно, изодрано в клочья. «Это из-за него я ударил своего ребенка, — думал Ри-



чард.— Из-за него я — со своей женой...» Богач и лейборист — прекрасно. Вечно нищая жизнь — прекрасная подготовка к тому, чтобы жить в роскоши. Во всяком случае, лучше подготовки, какую получаешь, когда всегда живешь в роскоши. Пусть социалист пьет шампанское. Для него это в новинку. Но так или иначе — кого это волнует? Когда-то Ричард был даже коммунистом — когда ему было чуть больше двадцати,— однако ничего хорошего из этого не вышло.

— Огромное спасибо,— произнес журналист слегка удивленно.

Минуту он пребывал в нерешительности, сокрушенно глядя на свой магнитофон, потом кивнул и встал. Теперь на первый план вышла девушка-фотограф — очень высокая и пышущая здоровьем.

— Если позволите, еще три минуты вон там, в уголке.

— Я не позирую,— возразил Гвин.— Мы договорились, что вы будете шелкать, пока мы разговариваем. Но никакого позирования.

— Всего три минутки. Ну, пожалуйста. Две минутки. Здесь такой замечательный свет.

Гвин нехотя уступил. Он уступил, подумал Ричард, с видом человека, который уже не раз изображал подобное неохотное согласие с полным сознанием своего великодушия и его границ. Рано или поздно этот колодец со сладкой водой иссякнет.

— Кто сегодня будет? — спросил Гвин, скрытый от Ричарда девушкой-фотографом, которая была вся увешана футлярами и сумками, как рождественская елка подарками.

— Точно не знаю.— Ричард назвал несколько имен.— Спасибо, что нашел время. В свой день рождения.

Тут женщина-фотограф, не оборачиваясь к Ричарду, стала делать ему яростные знаки заведенной за спину рукой. Обращаясь же к Гвину, она сказала:

— Хорошо. Вот-вот. Чуть повыше. Вот так. Очень хорошо. Очень хорошо. Прекрасно.

Выходя из дома, они столкнулись в холле с леди Деметрой Барри. Ей было двадцать девять лет, и у нее был вид человека, далекого от земных забот, именно такой, какой можно ожидать от особы, состоящей в родстве с королевой. Подобно Джине Талл, она не имела никакого отношения к литературе, кроме того что была замужем за одним из будто бы представителей.

— Ты на урок, милая? — спросил Гвин, вплотную подходя к жене.

Ричард ждал своей очереди. Потом с коротким официальным поклоном он произнес:

— Моя дорогая Деми, — и поцеловал ее в обе щеки.

Оранжевый фургон стоял на том же месте — забрызганный грязью, с грязной белой обивкой кабины и грязными кремовыми шторками на окнах по сторонам и сзади. Если не считать Джиро, Стив Кузенс был в машине один — Тринадцатого он отправил за соком.

Обезьянка. Пони. Кошка — трешка. Почему это пролетарские деньги все время называют какими-то животными? А потом еще эти перевертыши. Ни до, тяведь — полная чушь. «Ковер» означает шесть. «Полсрока» — это тоже шесть, а «срок» — двенадцать... Боже. Тюремным жаргоном можно было себя выдать, и пользоваться им не следовало. Стив Кузенс никогда не сидел в тюрьме, его досье было чистым как стеклышко (как не раз с томным видом многие адвокаты повторяли в зале суда)... Так обстояли дела у Стива Кузенса, а сам он сейчас сидел в кабине фургона и читал журнал «Политическое обозрение». Кроме журнала у него с собой была книга Элиаса Канетти «Масса и власть» (она лежала на приборной доске). Забавно, однако, — в том кругу, в котором вращался Стив (скорее это был эллипс без устойчивого центра), читать книги вроде «Массы и власти» было все равно что открыто заявить, что ты сидел, и сидел долго. Будьте бдительны с уголовником, читающим Камю и Кьеркегора или погруженным в

«Критику чистого разума» или «Четыре квартета» Т. С. Элиота...

Стив. Стив Кузенс. Скуззи.

Скуззи? У Скуззи были крашенные волосы, поставленные торчком, какого-то сиропного или даже паточного цвета, но у корней они оставались черными (в память о более раннем периоде). Волосы его напоминали влажное сено, подвергшееся бездумному химическому воздействию. Там, где одна краска переходила в другую, волосы выглядели как щели между прокуренными зубами. Скуззи не курил. Мы не курим и не пьем, мы следим за своим здоровьем. У него было длинное лицо, несмотря на почти полное отсутствие подбородка (подбородок у него был размером с кадык, на который опирался), и при определенном освещении черты лица Скуззи напоминали намеренно смазанное изображение лица подозреваемого на телеэкране — размытое и разбитое на подергивающиеся квадратики. В мочках ушей у него висело по два тоненьких колечка. Когда он был готов напасть, он, как и все, выпучивал глаза, а еще его губы раздвигались в алчной, предвкушающей улыбке. Он был не очень высокого роста, но и не коротышка, а когда снимал рубашку, демонстрируя себя как иллюстрацию из учебника по анатомии, то поражал людей своей мускулатурой. И вообще эффектом неожиданности он умел пользоваться превосходно. В драках и потасовках это умение проявлялось сверх всякой меры. Потому что Стива невозможно было остановить. «Если уж я начал, меня не остановишь». Это точно. Он был из того разряда преступников, которые не понаслышке знают, что такое рецидивист. Он был молодец. У него была своя философия. По крайней мере, он так считал.

Задействовав шейные мышцы, Скуззи медленно повернул голову в сторону Тринадцатого, который открыл дверцу фургона и залез внутрь. Джиро, в своей толстой меховой шубе спавший в глубине фургона, жарко зевнул во сне.

— Он вышел? — спросил Тринадцатый.

— Они оба вышли. Поймали такси. Ну, отчитывайся.

— Ну и домина.

Скуззи развернулся к Тринадцатому, вздохнул и снисходительно сказал:

— Тринадцатый, дружище. Какого черта, по-твоему, мы сюда притащились? Чтобы все испоганить? Вломиться в дом и хапать все, что под руку попадет?

Опустив голову, Тринадцатый улыбнулся. Как раз что-то в этом роде у него на уме и было.

— Надо выждать время и сорвать куш.

— Да?

— Кончай базар — сиди и смотри в оба!

Они стали наблюдать за домом.

— Это его жена, — уверенно произнес Скуззи. — На урок пошла.

— Фигуристая деваха, — одобрительно сказал Тринадцатый. — Класс.

Да уж, нашим чернокожим братьям как раз такие, как леди Деметра, и снятся: роскошная блондинка, в теле, есть за что подержаться. Но не во вкусе Стива. Впрочем, как и любая другая женщина из плоти и крови. Нет, мужчины его тоже не интересовали.

Тринадцатый потянулся к ключу зажигания и посмотрел на Стива, но тот только прищурился, и этого было достаточно, чтобы Тринадцатый понял — пока что они никуда не едут. Со Скуззи всегда так: сначала приходится делать намного меньше, чем думал. А потом — все наоборот.

— Бац говорил, что деваха фигуристая.

— У королевских штучек всегда большие титьки, — беспристрастно заметил Стив. — Эй! Это же не «Тинг». Это — «Лилт»!

— Грейпфруто-ананасовый напиток, — раздраженно ответил Тринадцатый. — Один черт.



Обед в рыбном ресторане для богатых пожилых джентльменов продолжался уже час, и наконец-то назревало нечто экстраординарное. Впрочем, ничего непредвиденного. Просто Ричард как раз собрался разразиться пламенной речью. Вот именно: пламенной речью.

Вам это не кажется экстраординарным? И тем не менее это так. Постарайтесь припомнить, когда вам в последний раз доводилось это делать. Я имею в виду не заявления типа: «Я считаю, что это стыд и позор», или «Ты первая начала», или «Немедленно отправляйся в свою комнату и ложись в постель». Я имею в виду речь: пламенную речь. В жизни редко можно услышать речи. Нам редко случается как произносить их, так и выслушивать. Посмотрите, как у нас с этим плохо. «Мариус! Марко! Вы оба... оба хороши!» Видите, как мы все портим. Мы брызжем слюной, повторяемся. У женщин это выходит лучше, по крайней мере они могут дольше продержаться, но когда представляется возможность пустить слезу, они почти никогда эту возможность не упускают. Не имея такой альтернативы, мужчины просто затыкаются. Они, как говорят французы, обладают *esprit de l'escalier* — то есть красноречивы на лестнице, когда уже все позади, тогда они начинают махать руками и разглагольствовать, что могли бы сказать то-то и то-то... Прежде чем начать свою речь, Ричард в этом шикарном ресторане подумал: была ли пламенная речь естественным средством, к которому до 1700-го или какого там года, по словам Т. С. Элиота, прибегали и мужчины, и женщины, пока мысль и чувства не размежевались. У мужчин, кстати, разницей между разумом и чувствами гораздо более заметен, чем у женщин. Может быть, у женщин этого размежевания вообще не произошло. По сравнению с мужчинами женщины — метафизики; они Донны и Марвеллы\* ума и сердца.

---

\* Донн Джон (1572–1631), Марвелл Эндрю (1621–1678) — английские поэты «метафизической школы».

Итак, пламенная речь Ричарда. Пламенная речь, которая неспешно разворачивается, облекая мысли и чувства в слова, исполненные драматизма. Пламенная речь — это почти всегда неудачный ход.

Чем объяснить его поведение? В конце концов, Ричард пришел сюда, чтобы произвести благоприятное впечатление. Ему нужна была работа.

Может быть, все дело в духе этого места? Полукруглый банкетный зал был полон снеди, напитков и сигаретного дыма, за столиками сидели пожилые мужчины, тщательно пережевывающие деньги, нахапанные их предками.

А может, дело в собравшихся? Их компания состояла из финансиста, журналиста, журналистки, издателя, хроникера, карикатуриста, фотографа, видного промышленника, теневого министра культуры и Гвина Барри.

Или в количестве выпитого Ричардом алкоголя? Вообще-то Ричард держался молодцом, ограничившись до предобеденного виски одним коктейлем и светлым пивом. Но потом он выпил примерно бочку вина. И пока все бестолково топталось на месте, они с Рори Пантагенетом, ведущим колонки светской хроники, успели заскочить в пивную через дорогу. Ричард и Рори иногда называли друг друга школьными приятелями, иными словами, они ходили в одну и ту же школу в одно и то же время. Эта школа называлась Риддингтон-хаус и была известна как худшая из лучших частных школ на Британских островах. В последние годы Ричард продавал Рори литературные сплетни: насколько удалось продвинуться тому или иному литератору, кто получит очередную премию и т. п. От случая к случаю, и чем дальше, тем чаще, он продавал ему слухи о разводах и изменах, банкротствах, лечении от алкоголизма и наркозависимости и прочих проблемах со здоровьем в среде литераторов. Рори платил за информацию и всегда расплачивался за напитки — в качестве чаевых. Он платил за информацию, а также за выпивку, за уклончивые отве-

ты и за дешевые шутки. Ричарду не нравилось этим заниматься. Но ему нужны были деньги. При этом он чувствовал себя так, будто надел новую дешевую рубашку, не вынув из нее упаковочные булавки.

А может быть, Ричард был чересчур обижен? И сильно же он был обижен, должно быть, подумал кто-то. Во всяком случае, достаточно.

И лондонская погода непременно должна была сыграть свою роль: жаркий полуденный полумрак, точно ночные сумерки, сгушающиеся в церкви. Обедающие то и дело вставали с мест, собирались в группы по двое, по трое... Гвин Барри уже успел сфотографироваться. Финансист — Сэбби — тоже. Потом Гвина Барри сфотографировали вместе с финансистом. Издателя сфотографировали с Гвином Барри и видным промышленником. Видного промышленника сфотографировали с теневым министром культуры и Гвином Барри. Были произнесены две речи — обе по бумажке, и ни одна из них не была пламенной. Видный промышленник, жена которого так сильно увлеклась литературой, что этого с избытком хватало на них обоих, произнес хвалебную речь (Ричард знал, что Гвин у них часто обедает) по случаю сорокалетия Гвина Барри. Это заняло в целом около девяноста секунд. Потом слово взял финансист — за время его речи Ричард успел выкурить три сигареты, не сводя слезного взора со своего пустого бокала. Собственно, финансист пытался что-нибудь получить за свои деньги. Так что это не походило на бесплатный обед с последующей деловой беседой за чашечкой кофе. Финансист говорил о типе литературного журнала, с которым ему бы хотелось иметь дело, — о типе журнала, который он как финансист был готов поддержать. Не совсем такой, как журнал А. И не совсем такой, как журнал Б. Скорее такой, как журнал В (давно закрытый) или журнал Г (издается в Нью-Йорке). Затем Гвина Барри спросили, с каким журналом он хотел бы иметь дело («с журналом самых высоких

стандартов»). После видного промышленника высказались теневой министр культуры, журналистка и журналист. Мнением Рори Плантагенета никто не поинтересовался. Равно как и мнением фотографа, который в любом случае уже собирался уходить. Равно как, впрочем, и мнением Ричарда Талла, который изо всех сил старался оставаться под впечатлением, что его сватают на место главного редактора. Хотя вопросы, которые ему задавали, были исключительно второстепенного порядка — верстка, печать и тому подобное.

Имеет ли смысл, вопрошал между тем финансист Сэбби (его популярность в обществе в немалой степени была обязана именно этому передававшемуся из уст в уста уменьшительному имени, не будем сейчас вспоминать о его коллегах — акулах и стервятниках, которые при мысли о нем вздрагивали у экранов своих мониторов), — так вот, имеет ли смысл провести небольшое маркетинговое исследование? Ричард?

— Чтобы выяснить что — читательскую аудиторию? — Ричард понятия не имел, что ответить. Наконец он произнес: — Возраст? Пол? Или еще что-нибудь?

— Думаю, мы могли бы провести опрос... ну, скажем, среди студентов Лондонского университета, изучающих английскую литературу. Что-нибудь в этом роде.

— Проверить, насколько высоки их требования?

— Выявить целевые группы, — вступил в разговор журналист — лет двадцати восьми, с отпущенной в порядке эксперимента бородкой и взглядом проголодавшегося школьника перед большой переменной; в газете он вел колонку социально-политического характера. — Бросьте, тут ведь не Америка, где читательская аудитория поделена на мельчайшие целевые подгруппы. Это там издаются специализированные журналы для каждой такой подгруппы. У них там, кстати, есть журналы, — он обвел глазами стол, ожидая увидеть улыбки на лицах, — для дважды разведенных ныряльщиков с Молуккских островов.



# *Содержание*

Часть первая . . . . .	7
Часть вторая . . . . .	171
Часть третья . . . . .	329
Часть четвертая . . . . .	453